

# Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Розанов

*Булгаков в поисках Рафаэля. Булгаков на службе. «Женственность» против Булгакова. Евразийская фраза Новгородцева. «Памятник» Розанова.*

Безусловными лидерами «безответственного», фрагментированного чтения в глазах людей моего поколения, начало сознательной жизни которых выпало на 1970-е годы, были записные книжки Чехова и дуэта Ильфа и Петрова, записные книжки Блока популярности не стяжали, публицистика Достоевского оставалась идейно и политически герметичной, эссеистика Шестова — не актуальной. В области нормативной эссеистики главенствовали мемуарно-критические заметки Л. Я. Гинзбург и вдохновлённые стилем и мышлением Розанова тексты В. Б. Шкловского. Сам В. В. Розанов не был в центре внимания: для такого вытеснения его в читательское подполье советской власти было достаточно ограничить сферу распространения его сочинений букинистической торговлей.

Возвращение сочинений Розанова в массовый читательский оборот на рубеже 1980-х и 1990-х поставило все на свои места<sup>1</sup>. В русском культурном сознании к «Опавшим листьям», «Уединенному» и «Мимолетному» В. В. Розанова, как наивысшему достижению жанра, выстроилась традиция фрагментированных эссеистических, «безответственных» заметок по любым темам и поводам, слагаемых автором в более или менее рыхлую целостность. Организуя началом здесь выступает амплуа или частная роль человека или его лирический герой, изредка — в описании пристрастий или профессиональных занятий — возвращающийся в тело автора и его недвоящегося «я». Жанр таких заметок гораздо ближе к историческому и культурному контексту, чем к политической и бытовой повседневности и поэтому уже далёк от формального авторского дневника: более публичен, дисциплинарен в отдельном фрагменте,

<sup>1</sup> Сегодня самым полным изданием работ В. В. Розанова является продолжающаяся в нумерованных томах «Собрание сочинений», выходящее под редакцией А. Н. Николюкина, только что издавшего в серии «ЖЗЛ» его биографию. Оставим непочтительность: среди исследователей Розанова (в давнем прошлом — Е. В. Барабанова, в настоящем — неспешного В. Г. Сукача) А. Н. Николюкин оказался наиболее продуктивным.

свободен от хронологического принципа, почти не интимен, даже — демонстративен... И одновременно жанр этот ещё далёк от актуальной культур-критики и публицистики (можно даже сказать, что он прямо враждебен её чрезмерно динамичному актуализму и прямой политической риторике). В равной степени далёк он от собрания афоризмов и максим, или от сборника историко-культурных анекдотов. Дело в том, что, с одной стороны, жанр розановских заметок принципиально не живет в пространстве одного, даже афористического, фрагмента; а с другой — остается именно свидетельским, как правило, уникальным произведением, избегающим безличности и консенсуальности анекдота. Исторически заметки такого рода восходили к «Table-Talk» Пушкина и «Старой записной книжке» П. А. Вяземского<sup>2</sup>, не только легитимировавшим в читательском сознании содержательность прежних историко-литературных анекдотов<sup>3</sup>, но наметившим путь к преодолению их принципиально неавторского, безличного характера — в особой авторской окраске, в особом праве автора, рассказывающего не о своей, мемуарной жизни, на самоописание и критический произвол. Можно сказать, что центром жанра «заметок» становилось описание истории и культуры как своего личного, даже интимного опыта, принципиально враждебного объективизму.

Понятно, что авторы легко разрушали зыбкие границы жанра — устремляясь далее — в прямую публицистику<sup>4</sup> или «возвращаясь» к дневнику. Жанр «безответственных заметок» не переставал быть чрезвычайно привлекательным для самовыражения, но часто мимикрировал под публичный дневник или непрофессиональную публицистику.

Жанр публичного дневника в русской критике охватывал целую традицию от «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского до частных «дневников» и «Литературного дневника» З. Н. Гиппиус<sup>5</sup> и Марка Слонима, «Дневника журналиста» С. Н. Южакова, «Дневника публициста» Н. А. Бердяева, снова «Дневника писателя» А. Белого и «Дневника политика» П. Б. Струве — но был лишен главного достоинства «безответственной эссеистики»: независимости от исторической повседневности. Интересно и не случайно, что классическим образцам жанра у Розанова непосредственно предшествовала практика, так сказать, религиозного осмысления политики — в трудах известного розановского современника, одного из первых социалистических священников-проповедников — Г. С. Петрова, особо полюбившего подчеркнуть личностный и эскизно-фрагментарный способ изложения мыслей<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Последнее издание: П. А. Вяземский. Старая записная книжка. М., 2000.

<sup>3</sup> Среди последних изданий: Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века / Сост. Е. Курганов и Н. Охотин. М., 1990; Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях / Сост. Б. Н. Путилов. СПб., 2000.

<sup>4</sup> Даже розановский нормативный, разделенный на выпуски «Апокалипсис нашего времени», ближе чем обычно подошёл к политической актуальности, уже явным образом не вмещаясь в пределы жанра — и, оставаясь «безответственным», композиционно сближался с менее яркой и менее художественной, но более банальной традицией газетно-журнальных передовиц от И. С. Аксакова до П. Б. Струве и Е. Н. Трубецкого.

<sup>5</sup> А. В. Лавров вспоминает кстати и «Дневник читателя» Н. К. Михайловского: Новый мир. М., 2000. № 4. С. 216.

<sup>6</sup> См. например: Священник Г. Петров. Думы и впечатления. СПб., 1907. В сравнение и явную конкуренцию сочинениям Г. С. Петрова сборник духовных сентенций о. Иоанна Кронштадтско-

Послереволюционное разрушение традиционной литературной среды и цензурное истребление в Советской России самой возможности независимой политической и идеологической критики, идейной публицистики как жанра, дало импульс к интенсивным поискам в области афористики и эссеистики. Наиболее ярким проявлением этим поисков стал журнал, объединивший опыты Андрея Белого и М. О. Гершензона<sup>7</sup>. Особый выход за пределы жанра «заметок» предложил в своей мемуарной прозе А. М. Ремизов — по пути художественного, новеллистического превращения каждого эпизода<sup>8</sup>. Наиболее точным, отвечающим главной розановской, нехудожественной, критической интуиции и потому — успешным, хотя и менее ярким и более нормативным продолжением традиции стали «Комментарии» Г. В. Адамовича<sup>9</sup>.

К началу 1990-х годов, когда в читательском сознании встретились обе ветви традиции — от Ильфа-Петрова и Гинзбург до Розанова и Адамовича, — высокое подражание ей стало осмысленным и нередким. Это облегчалось восстановлением контекста, когда просто публичные дневники и публицистика перестали быть дополнительными и не вполне полноценными жанрами эссеистики. Изобильные публикации последних лет позволяют хорошо чувствовать их отличие от трудной специфики розановской традиции. Например, биографически и исторически близкие Розанову дневники-записки М. М. Пришвина и С. Н. Дурьиной,<sup>10</sup> хотя и несут на себе явственное влияние розановского жанра, остаются в рамках непубличного и мемуарного мышления.

А чрезвычайно разнообразные и яркие сборники политической бесцензурной публицистики В. И. Вернадского, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, И. Г. Эренбурга, Е. И. Замятина, И. А. Бунина, П. П. Муратова<sup>11</sup> — даже в самых дробных

го был подготовлен о. А. Ельчаниновым. Современное издание: *Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе*. М., 1991.

<sup>7</sup> *Андрей Белый*. Дневник писателя // Записки мечтателей. Пб., 1919. № 1. С. 119–133; *М. Гершензон*. Солнце над мглой: (Афоризмы) // Записки мечтателей. Пб., 1922. № 5. С. 90–107; *Андрей Белый*. Так говорит правда // Там же. С. 108–126; *М. Гершензон*. Демоны глухонемые // Там же. С. 127–135.

<sup>8</sup> Например: «Иверень. Загогулины моей памяти». Нет времени сейчас развивать эту тему, но то, что такая новеллизация мемуарных заметок стала преобладающим явлением в первой русской эмиграции (у М. А. Осоргина, Б. К. Зайцева, В. Ф. Ходасевича, Ю. П. Анненкова, др.) — очевидно.

<sup>9</sup> *Георгий Адамович*. Собрание сочинений. «Комментарии» / Сост. О. А. Коростелев. СПб., 2000. Ср.: *Г. А. Ландау*. Эпиграфы. Берлин, 1927.

<sup>10</sup> *М. М. Пришвин*. Дневники. [1914–1925 гг.] Кн. 1. М., 1991; Кн. 2. М., 1994; Кн. 3. М., 1995; Кн. 4. М., 1999; *С. Н. Дурьин*. В своем углу. Из старых тетрадей. М., 1991.

<sup>11</sup> *В. И. Вернадский*. Публицистические статьи / Сост. В. П. Волков. М., 1995; *И. А. Бунин*. Публицистика 1918–1953 годов / Под общей ред. О. Н. Михайлова. М., 2000 (наиболее полное собрание, первое издание — 1998); *Иван Бунин*. Великий дурман. Неизвестные страницы / Сост. О. Б. Василевская. М., 1997; *Леонид Андреев*. С. О. С. Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб., 1994; *Илья Эренбург*. На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917–1919 гг. / Сост. А. И. Рубашкин. СПб., 2000; *А. И. Куприн*. Мы, русские беженцы в Финляндии... Публицистика (1919–1921) / Сост. Б. Хеллман при участии Р. Дэвиса. СПб., 2001; *Е. И. Замятин*. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. А. Ю. Галушкин. М., 1999; *Павел Муратов*. Ночные мысли. Эссе, очерки, статьи 1923–1924 / Сост. Ю. П. Соловьев. М.,

и «личностных» своих составных частях — никогда не достигают «стереоскопического эффекта» розановских заметок.

Наилучшим воспроизведением жанра в 1990-е годы (в таком качестве получившим горячий читательский и критический отклик) стало сочинение Михаила Безродного «Конец цитаты» (1996). Явно инспирированные им в собственной филологической среде повторения жанра Михаилом Гаспаровым («Заметки и выписки», 2000) и Александром Жолковским («Мемуарные виньетки и другие non-fictions», 2000) — неудачны<sup>12</sup>. Но своей неудачей в достижении чаемых высот жанра они лишь укрепляют его окончательную определенность.

## 1. Булгаков в поисках русского национального Рафаэля (1900–1902)

Патетический момент *встречи* Булгакова с «Мадонной» Рафаэля летом 1898 года широко известен в изложении самого Булгакова. Признавшись, что его «осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна», он вспоминал: «Я увидел и с первого же взгляда принял в сердце Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрездене. Это не было чисто художественное впечатление, эта встреча явилась *событием* моей жизни, — вернее сказать, то было настоящее духовное потрясение...»<sup>13</sup>. Новая, четверть века спустя, встреча с «Мадонной» вызвала иную реакцию, — цитирую интимный дневник, послуживший основой для процитированного выше дневника публично-художественного: «Вот я в Берлине... Был здесь марксистским щенком, теперь, на склоне жизни, приехал как священник. (...) Дорогой я остановился в Дрездене, был у Сикстины, просидел у неё час. Шел с волнением почти юношеским и... не нашел того, что находил неверующим: Богоматери! (...) Итак, это умерло и не воскреснет вновь»<sup>14</sup>. К этому можно лишь прибавить, что сама необходимость такой встречи была воспитана в Булгакове пристальным чтением «Бесов» Достоевского, где Сикстинская Мадонна неоднократно выступает в качестве высшей общечеловеческой ценности, противостоящей европейской мещанской пошлости: «царица царяц, идеал человечества, Мадонна Сикстинская» и «О дрезденской Мадон-

2000. См. также: Публицистика русского зарубежья. Сб. ст./Сост. И. В. Кузнецов и Е. В. Зеленина. М., 1999 (поверхностная и некачественная антология с небольшим числом нередких текстов Бердяева, Бунина, Струве, Федотова, Шульгина и др.); *В. И. Вернадский*. Дневники 1917–1921. [Кн. 1] Октябрь 1917 — январь 1920. Киев, 1994.

<sup>12</sup> Совершенно за пределами качества, но зато в точном самоощущении жанра находится книга: *Валентин Грудев*. Мысли провинциала, или новый Розанов. Избранные места. Ростов-на-Дону, 2000.

<sup>13</sup> *С. Булгаков*. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / Сост. А. П. Олейникова и Н. А. Струве. Орел, 1998. С. 284 (с ошибкой в дате: вместо «ноября» должно быть «февраля»). См. первое описание: «Мне посчастливилось быть в Дрездене и испытать небесное счастье перед Сикстинской мадонной» (В ожидании Палестины: 17 писем С. Н. Булгакова к М. О. Гершензону и его жене. 1897–1925 / Публ. М. А. Колерова // Неизвестная Россия. XX век. Кн. 2. М., 1992. С. 121). Ср. повторное описание той же встречи: *С. Булгаков*. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения / Подг. текста В. В. Сапова. М., 1994. С. 14.

<sup>14</sup> *С. Булгаков*. Из памяти сердца. Прага [1923–1924] / Публ. А. П. Козырев и Н. Ю. Голубковой // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 227–228. Ср.: «Моя не состоялась встреча, здесь я не встретил того, чего ожидал. К чему таить и лукавить: я не увидел Богоматери» (*С. Булгаков*. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 286).

не? Это о Сикстинской? (...) я просидела два часа перед этой картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении»<sup>15</sup>.

Вскоре после *встречи*, летом 1900 года Булгаков поселился в Киеве — и увидел росписи Владимирского собора, только что расписанного В. М. Васнецовым и др. В большой истории русского искусства эти росписи как-то не задержались, задержались лишь эскизы М. А. Врубеля к росписям. Но в те годы художественно-общественная эйфория от такой акцентированно «национальной» перелицовки канона была велика.

В 1902 году, в Крыму, Булгаков, делясь эйфорией со Львом Толстым, попытался и ему рассказать о своей дрезденской *встрече*, но был непонят<sup>16</sup>. Тогда же, в 1902-м, по свежим следам встреч, Булгаков выступил в (не устаю повторять: социал-демократическом) сборнике «Литературное Дело» со статьей «Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели)». В поисках национальных гениев в главных духовных сферах, к гениям литературному, философскому и этическому, он добавил гения художественного — «корифея» Васнецова, не только художника, но и верующего «вполне современного человека, познавшего древо добра и зла»<sup>17</sup>. Сейчас несоразмерность не только художественного масштаба, но и тем более — пошлой, полубездарной (бездарнее — серия житийных картонов М. В. Нестерова) росписи Васнецова другим «гениям» очевидна и вопиюща. Но в помрачении своем, в кратковременном стремлении выстроить такие «параллели» с участием Васнецова, Булгаков был повинен вместе со своим временем. Более того — с актуальной художественной критикой. Рафинированный знаток русской художественной практики С. К. Маковский признавался уже в 1908 году: «Васнецов в конце <18>90-х годов слыл одновременно столпом среди передвижников и чуть ли не гениальным провидцем у мирискусников»... И далее: «Однако Стасов никак не мог простить ему “мистицизма”... С другой стороны, увлечение дягилевцев было очень недлительно, и уже в 1902 году в “Истории русского искусства” Александром Бенуа горькая правда о Васнецове высказана довольно определенно»<sup>18</sup>. Годы спустя, также критически и неллицеприятно анализируя творчество художника, П. П. Муратов, тем не менее резюмировал то, что, в силу художественной наивности и идейной ангажированности, более всего мог иметь

<sup>15</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 тт. Т. X. М., 1974. С. 265, 235. Исследователи подтверждают, что Достоевский неоднократно обращался к образу Сикстинской Мадонны, ибо признавал ее «за высочайшее проявление человеческого гения» (Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 тт. Т. XXII. М., 1981. С. 383, прим. к стр. 124)

<sup>16</sup> С. Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 288.

<sup>17</sup> С. Булгаков. Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели) // Литературное Дело. Сб. СПб., 1902. С. 126.

<sup>18</sup> С. Маковский. Силуэты русских художников. М., 1999. С. 35. «Он гениальный художник, оригинальный и неподражаемый и в жанре, и в эпических и религиозных картинах... Лет десять раньше почти так же прославлялся Васнецов многими критиками (в том числе и мною) как возвеститель русской “самобытности”, вдохновенный мистик, художник национальных откровений (...) Васнецов новый — декоратор Владимирского собора... Внешне “национальное”, обманно-впечатляющее в его творчестве казалось каким-то гордым вызовом неумелому “западничеству” художников-подражателей и компиляторов. (...) С тех пор мы узнали, что наивной была наша вера, Васнецов не кажется больше ни гениальным учителем, ни вдохновенным мистиком (...) На последней выставке в Академии художеств (1905) все чуткие поняли: великого Васнецова не стало» (С. 144).

в виду Булгаков: «В истории русского искусства имя В. М. Васнецова связано с двумя великими идеями, — с идеей национальности и с идеей религиозных традиций. (...) У В. М. Васнецова она ясно и определенно выдвинута на первое место, она предшествует всякому его художественному деланию, как некоторая программа»<sup>19</sup>.

Итак, главным поводом к *повторению встречи* Булгакова с «Мадонной» — теперь уже не космополитической, рафаэлевской, а с национальной, васнецовской Богоматерью — было зафиксированное в статье о «параллелях» сравнение росписей Владимирского собора с «Сикстинской Мадонной»<sup>20</sup>. Понятно, что Булгаков, в растущем национальном возбуждении 1900–1906 годов, искал «параллели» (альтернативы) Рафаэлю и, выстраивая «идеалистическое направление», искал ему культурных соответствий. И во многом случайно эта альтернатива нашлась в Киеве, в соборе, в Васнецове. Не случайно то, что образы росписей киевских Васнецова чутко улавливали иной, интеллигентский субстрат массовых религиозных поисков, выразителем которых был и Булгаков, прямо апеллировали к интеллигентской аудитории: и в лице васнецовской Богоматери сквозил узнаваемый интеллигентский женский тип, и в лице васнецовского Христа был реализован тип чахоточный и надсоновский... Несомненно, Булгаков не скрывал своего пристрастия к Васнецову, и не только выступал с публичными чтениями своих «Параллелей» в Киеве, но и, разумеется, делился взглядами со своими сотрудниками. Одним из таких ближайших сотрудников Булгакова в 1904–1905 годы был Г. И. Чулков, заведующий редакцией журналов «Новый Путь» и «Вопросы Жизни» (к которому Булгаков питал стабильную неприязнь). Чулков, человек радикальных революционных взглядов и широких культурных интересов, но идейно всеядный и поверхностный, к несчастью, был резким противником В. М. Васнецова. В своих воспоминаниях он дал уничижительную квалификацию «слащавым красотам Васнецова, которыми восхищаются обыватели во Владимирском соборе»<sup>21</sup>.

Булгаков, наверное, и сам начинал сомневаться в «гении» Васнецова (и потому в 1903 году не стал переиздавать «Параллели» в сборнике «От марксизма к идеализму»<sup>22</sup>), но не поторопился разочароваться в национальной стилистике Владимирского собора. И даже на Пасху 1906, в специальном номере левой киевской газеты «Народ», фактическим редактором которой он был, разместил цветные (!) репродукции Владимирской серии (Врубеля и Нестерова, а не Васнецова)<sup>23</sup>. Очерченная здесь особая художественная чуткость

<sup>19</sup> П. Муратов. В. М. Васнецов. (По поводу выставки его религиозных картин) // Московский Еженедельник. 6 марта 1910. № 10. Стлб. 45.

<sup>20</sup> С. Булгаков. Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели). С. 121.

<sup>21</sup> Георгий Чулков. Годы странствий. М., 1999. С. 312.

<sup>22</sup> Другой причиной невключения этой литературно-критической статьи в сборник могло быть представление Булгакова о ее инородности замыслу книги, в которой он, несмотря ни на что, хотел видеть не столько сборник, сколько систематический очерк своей оригинальной социальной философии.

<sup>23</sup> Редактором и автором художественного приложения к «Народу» была Н. Н. Кульженко (М. К. «Идеалистическое направление» и «христианский социализм» в повременной печати. Росписи содержания // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год. М., 1999. С. 384), в 1900-м — киевская дама сердца Бердяева (Александр Вадимов. Жизнь Бердяева. Россия. Oakland, Calif., 1993. С. 50).

Булгакова делает ему честь. Но есть ещё одно обстоятельство, археологический гораздо более несомненное и касающееся не только параллели Рафаэль — Васнецов, но и параллели Васнецов — Достоевский — Толстой.

В 1901 году в массовой серии художественно-просветительских брошюр вышло сочинение В. Л. Дедлова (Кигна), посвященное собору, снабженное портретом Васнецова, автотипиями — и в целом являющееся апологией художника<sup>24</sup>. Третья и четвертая главы брошюры были посвящены персонально Васнецову (С.21–33) и его религиозной живописи (С.34–74). Именно В. Л. Дедлов, формулируя, что Васнецов «идеалист» и «глубоко национален», начал сравнивать его с Достоевским и Толстым<sup>25</sup>.

Булгакову оставалось лишь добавить к «гениям» Соловьева и творчески развить то, что уже было изложено в просветительской брошюре.

## 2. Булгаков на государственной службе (1903–1905)

Редко кто задумывается об официальном социальном и государственном статусе тех, кто числится среди русских мыслителей, особенно — начинавших в качестве крайне революционеров. Вся инерционная сила государственной службы в полной мере двигала их чиновничью карьеру, невзирая на негласный надзор Департамента полиции МВД и многолетние сведения об их политической неблагонадежной подпольной и публичной политической активности.

С 1900 по 1906 год Булгаков провел в Киеве в состоявшем в ведении Министерства финансов Политехническом институте<sup>26</sup>. 1903 год для Булгакова, в глазах власти и подавляющего большинства общественности остающегося не только радикалом, но и социал-демократом, трибуном, лектором-пропагандистом, срывающим аплодисменты огромных (до 1000 человек) аудиторий в Киевском политехническом, был вполне успешен. «Отчет о состоянии Киевского Политехнического Института имп. Александра II за 1903 год» (Киев, 1904) в сведениях о личном составе сообщает (С.205): Булгаков — экстраординарный профессор по кафедре политической экономии и статистики, магистр, коллежский советник, в службе с 1895 г., в ведомстве [Министерства финансов] с 1 июля 1901, в чине с 15 февраля 1901, в настоящей должности (VI класса) с 1 июля 1901 (...) 6 апреля 1903 года награжден Орденом Св. Анны 3 степени.

<sup>24</sup> В. Л. Дедлов. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. М., 1901. Кстати, пятая глава брошюры посвящена другому культурному вождю Булгакова — М. В. Несторову (С.74–86).

<sup>25</sup> В. Л. Дедлов. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. С. 63, 73.

<sup>26</sup> Вернувшись из заграничной командировки и защитив магистерскую диссертацию, в 1900 Булгаков возобновил чтение лекций по политэкономии как преподаватель Московского технического училища. Одновременно, как магистр политической экономии, Булгаков подал прошение о приеме его приват-доцентом в Московский университет, которое было удовлетворено. Но разрешение управляющего Московским учебным округом от 3 августа 1901 пришло поздно — и Булгаков уехал преподавать в Киев (РГИА (СПб.). Ф.733. Оп.151. Ед. хр.206. Л.99). В Киеве он стал экстраординарным [без докторской степени] профессором политической экономии Политехнического института и с особым нажимом стал приписывать к своему имени: *проф.* Только в 1903 году он получил место приват-доцента в киевском Университете св. Владимира.

Орденосец Булгаков, в ответ на призыв ведомства что-то поделать с бастующими на политической почве студентами, как член Совета института 28 ноября 1903 начал обсуждать, а 2 декабря 1903, вместе с Советом постановил отказать ведомству — и не выяснять виновность участников студенческой сходки. Нельзя сказать, что, наблюдая за растущей антигосударственной активностью Булгакова, государство только учреждало над ним негласный полицейский надзор и награждало его орденами. 8 июня 1904 Булгаков признавался в письме к М. О. Гершензону: «по требованию министерства внутренних дел мне было предложено уйти в отставку, но затем министерство финансов, которое не хотело скандала, сделало диверсию и пока я остаюсь. Отставка предложена за общее направление и по совокупности...»<sup>27</sup>.

Выживши как государственный чиновник в межведомственной борьбе МВД и Министерства финансов, Булгаков укреплял политический союз преподавателей с революционным студенчеством. Сходки продолжались и, под впечатлением от Кровавого воскресенья 9 января 1905, 12 февраля 1905 Совет с участием Булгакова признал невозможным возобновить занятия «до изменения государственного строя России». Подпись его стоит и под постановлениями Совета от 15 октября (протест против ввода полиции и войск в институт), 17 октября (протест против террора и произвола, требование созыва Учредительного собрания), 22 октября 1905 (телеграмма с требованием отменить военное положение в Киеве)<sup>28</sup>.

Кстати, в 1904-м Булгаков, разгружая книжный балласт, накопленный при сочинении диссертации «Капитализм и земледелие», — и наверное, ожидая отставки — «подарил Библиотеке ряд статистических материалов на английском языке» (Отчет о состоянии Киевского Политехнического Института имп. Александра II за 1904. Киев, 1906. С. 63). Если, паче чаяния, грянет нужда для академического собрания проследить марксистскую мысль Булгакова, вперяющуюся в аграрную цифирь, и исследовать маргиналии и отчеркивания великого человека на страницах статистических материалов, то искать следы подарка придется в Киеве. Во всяком случае, материалы полицейского надзора за ним в Киевском архиве сохранились.

### 3. Ut aliquid fieri videatur

В известных мемуарах, в «Агонии», Булгаков описывает двойственность своего переживания «христианской политики» в период ее наивысшей активности, в 1905 году: «я лично пытался кликнуть клич на основание “Союза христианской политики”, но для этого у меня самым очевидным образом не хватало ни воли, ни умения, ни даже желания, это предпринято было, в сущности, для отписки, ради самообмана ut aliquid fieri videatur»<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> В ожидании Палестины: 17 писем С. Н. Булгакова к М. О. Гершензону и его жене. 1897–1925. С. 130. Об этом «предложении» выйти в отставку (очевидно, со слов самого Булгакова) сообщил и «Листок Освобождения» П. Б. Струве (№10. 27 мая/9 июня 1904) (Там же. С. 141, прим. 67).

<sup>28</sup> Из истории Киевского политехнического института. Сборник документов и материалов. Т.1 (1898–1917). Киев, 1961. С. 131, 132, 162, 183, 185, 188.

<sup>29</sup> *Прот. Сергей Булгаков*. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / Сост. А. П. Олейниковой и Н. А. Струве. Орел, 1998. С. 50–51.



Справедливости ради надо заметить, что Булгаков не «пытался», а именно «кликнул клич». И неудача этого призыва, и полное общественное равнодушие, встретившее этот призыв, — были откликом на прямое действие, а не на его попытку. Важнее другое: вынужденный призыв «без желания» был продиктован не только попыткой успокоить собственные революционные эмоции, но и ответить внешним импульсам (именно *ut fieri videatur*) — в первую очередь, со стороны деятелей «Христианского братства борьбы» Эрна и Свенцицкого, радикализующее воздействие которых на Булгакова в течение 1905–1906 гг. было изрядным.

Истолкованию этой латинской фразы помогает ее медицинский смысл, в исторически ближайшие годы к 1905-му введенный в широкий читательский оборот прежним социал-демократическим союзником и соавтором Булгакова по сборнику «Литературное Дело» В. В. Вересаевым. В 1900, в имевших широкий отклик «Записках врача» он писал: «Фармакология познакомила нас с целым рядом средств, *заведомо* совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических показаний нет; “но ведь вы не можете оставить больного без лекарства”, — и вот в этих случаях и следовало назначать “безразличные” средства, для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин — “прописать лекарство, *ut aliquid fiat*” (сокращенное вместо “*ut aliquid fieri videatur*, — чтобы больному казалось, будто для него что-то делают”)»<sup>30</sup>.

В таком контексте смысловой центр в признании Булгакова смещается. Булгаков признается таким витиеватым способом *не в том*, что его деятельность на ниве «христианской политики» — была вынужденной, заведомой «отпиской», пустой данью, отдаваемой радикализму в душе отошедшим от него деятелем, *а в том*, что средства, примененные «христианской политикой» к уже неизлечимому телу «общественности» были заведомо недействительны. Остается понять, какие же настоящие и более решительные средства, по мысли Булгакова, должны были применяться: трудно представить себе, что еще более радикального мог предложить Булгаков.

#### 4. Еще раз о «гнилом Западе»

Славянофильская риторика, кажется, странным образом была воспринята Булгаковым при посредстве В. С. Соловьева и А. И. Герцена, в простые передатчики славянофильской риторики мало годящихся. В ранних публицистических опытах она бросается в глаза. В статье Булгакова «Из записной книжки» (1906), посвященной разоблачению духовного убожества Запада, отказавшегося поддержать русский народ в его революционно-освободительной борьбе, читаем: «Славянофильские толки о гниении запада представляли [в XIX веке] сравнительное исключение (...) Запад силою вещей становился духовным кумиром (...) Был только один критический голос (...) который заклеил духовную язву европейской цивилизации, поставил точный диаг-

<sup>30</sup> В. В. Вересаев. Записки врача. На японской войне. М., 1986. С. 53.

нох духовному раку, ее разъедающему. Это был Герцен с его критикой европейского мещанства»<sup>31</sup>.

В. Ю. Зуев сообщил мне кстати и более позднее письмо Булгакова академику-археологу М. И. Ростовцеву: «13/26 VI 1914. Дорогой Михаил Иванович! Во вчерашних газетах прочел о Вашем избрании в члены (иностранцы) Берлинской Академии Наук, и спешу поздравить Вас с этим почетным и вполне заслуженным признанием Ваших научных заслуг. Гнилой Запад несколько опередил в этом отношении дорогое отечество... Тем больше честь. Кадетским засилием этого уже не объяснишь. Всего доброго. Ваш С. Булгаков»<sup>32</sup>.

## 5. «Женственность» против Булгакова

Публикуя несколько лет назад письмо П. Н. Савицкого к Булгакову конца 1924 года<sup>33</sup>, я немало удивлялся ожесточенности евразийца в отношении признанного мыслителя и вождя молодежи. «Женские» коннотации и недоумения, вызываемые учением Булгакова о Софии, обсуждались и обсуждаются с особой дотошностью. Но чтобы вот так — радикально...

Фактические обстоятельства были следующие: ученик П. Б. Струве, на почве евразийства решительно с ним разошедшийся, один из вождей и глава административного штаба евразийского движения Савицкий, тем не менее, аккуратно платил долг ученической чести учителю — и взялся составить и отредактировать сборник статей, посвященной 35-летию научно-литературной деятельности Струве, отмечавшемуся его поклонниками в январе 1925. В сборник — а именно редактору-инициатору Савицкому — направляли вполне научные и штудийные статьи друзья, соратники и ученики Струве. Направил свою штудию («Ипостась и ипостасность. Scholia к Свету Невечернему») и Булгаков.

И вот что ему отвечал Савицкий о штудии: «упомявая... “вечную женственность как пассивную любовь”, Вы снабжаете... упоминание сноской: “Разумеется, мы употребляем это выражение (...) вне всякого отношения к полу, поэтому женственность не имеет здесь отношения к женскости, а тем более к женщине”. Простите, но я не могу скрыть ощущения, что говорить о женственности, которая не имела бы никакого отношения к женскости и женщине, это одноприродно (...) исканию огня, который бы не жёгся и т. п.». Замечания свои Савицкий резюмировал очень жестко: «рядовой читатель воспримет указанное (...) как богословское оформление фрейдизма. Я же скажу». Важно отметить, что, по заведенному в среде евразийцев полемические письма тако-

<sup>31</sup> С. Н. Булгаков. Из записной книжки. 11 апреля [1906]/Публ. О. К. Локтевой и М. А. Колерова // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 145.

<sup>32</sup> РГИА (СПб.). Ф. 1041. Оп. 1. Д. 117. Л. 3. О концепте «гнилого Запада» см. кстати до сей поры мало читаемую статью: П. Б. Струве. С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе // Записки Русского Научного Института в Белграде. Кн. 17. Белград, 1940. С. 201–263. См. также пропущенное в исследованиях упоминание в письме Ф. И. Тютчева жене (1853): «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины» (Тютчевiana. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1999. С. 30–31).

<sup>33</sup> Для статьи: М. А. Колеров. Братство Св. Софии: «веховцы» и «евразийцы» (1921–1925) // Вопросы философии. М., 1994. № 10. С. 143–166.

го рода немедленно перепечатывались на пишущей машинке в нескольких копиях (под копирку) и рассылались, как минимум, членам руководства евразийским движением (Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский, др.)

Булгаков в ответном письме (30 декабря 1924) попытался объяснить («Мне, откровенно говоря, даже в голову не приходило, что отсюда могут получиться такие фрейдовские уравнения, какие Вы передо мной развернули»), но поправки в статью внес (А. Резниченко приводит свидетельство Савицкого о 90 поправках<sup>34</sup>, но сейчас недосуг выяснять, сколько из них касалось «женственности»). Сам Булгаков вполне внятно описывал свое переживание темы в дневнике еще конца 1923 года: «для меня выяснилось и философско-богословское и религиозное отвержение половой концепции Софии, как “вечной подруги” и “прекрасной дамы”. Это — ересь и блуд духовный, и, кажется мне, что я преодолел здесь В. Соловьева — Шмидт, и освободился от них в сторону церковности. Тем самым я сделал шаг и за “Свет Невечерний”, где, хотя и слабо и робко, но было еще соловьевство и “коккетство” с Софией...»<sup>35</sup>.

Первым делом следует заметить, что Савицкий не имел никаких «интеллектуальных» оснований вступать в теологическую полемику — ни образование, ни сфера интересов, ни даже обыденная практика не давала ему достаточных знаний для ведения сколько-нибудь квалифицированной полемики вокруг Софии. Главным внутренним мотивом (что подтверждает вся современная конфликту переписка евразийцев) для этих придилок Савицкого была, конечно, борьба за влияние на эмигрантскую молодежь, в среде которой заметное число церковно и идеологически ориентированных (то есть самых «лакомых» для построения идейно-политического и партийного движения, каковым было евразийство) принадлежало к так называемым «софийцам» (или «софианцам»), признанным вождем коих был Булгаков, развивавший собственное учение о Софии, еще не осужденное церковью. Впрочем, как бы велико не было ожесточение, полагать, что ради неочевидного удовольствия полемизировать с богословом о богословии, Савицкий ввязался в эпистолярную борьбу (и настолько затянул исполнение своих прямых редакторских обязанностей, что даже вызвал неудовольствие издательства<sup>36</sup>), было бы неправильным. Да и сам пункт полемики — сексуальное толкование Св. Софии — вряд ли на самом деле был столь принципиальным. Прозрачное же уязвление Булгакова Савицким в перенесении в область богословия личных сексуальных проблем я отнёс на специфику характера Савицкого, действительно, человека очень склочного.

В таком недоумении оставил я тогда эту тему. Анна Резниченко, коснувшаяся описываемой «полемики» при подготовке тематического сборника, в кото-

<sup>34</sup> С. Н. Булгаков. Труды о Троичности / Сост. А. Резниченко. М., 2001. С. 49 (Исследования по истории русской мысли. Т.6).

<sup>35</sup> Прот. С. Булгаков. Из памяти сердца. Прага [1923–1924] / Публ. А. П. Козырева и Н. Ю. Голубковой // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год / Под ред. М. А. Колерова. М., 1998. С. 199.

<sup>36</sup> Издательство «Пламя» в письме к П. Н. Савицкому от 2 декабря 1924 вынуждено было прямо поторопить его со сдачей статьи Булгакова «Ипостась и ипостасность» (ГА РФ. Ф.5783. Оп.1. Д.379. Л.4). Статьи о «Пламени». Д. А. Лутохин, активист и высланец 1922, затем заключившийся к советской власти, вспоминает (1928): «и “Русская Мысль”, и изданный “Пламенем” на чешские деньги к 35-летию (!) литературной деятельности Струве юбилейный сборник почти не расходились».

рый вошла «Ипостась и ипостасность», в приложении к тексту дала выдержки из переписки евразийцев и Булгакова, но тему также развивать не стала<sup>37</sup>.

Новый свет на мотивы Савицкого проливают опубликованные Ю. Т. Лисицей мемуарные записки И. А. Ильина, также человека крайне неуживчивого и бескомпромиссного, по мере своего растущего воцерковления перессорившегося почти со всеми философами первой волны эмиграции (его систематически нелестных оценок заслужили Булгаков, Бердяев, Карсавин, Франк, Лосский...). Ильин вспомнил, что жена его двоюродного брата Н. И. Ильина рассказала, что некогда (то есть в те же 1923–1925 годы) «посещала в Праге семинарий Булгакова по богословию и была у него на исповеди. В семинарии своем Булгаков разбирал догматы православия и в этой связи анализировал, комментировал и анатомически описывал неделями учение о зачатии и рождении Христа Богоматерью. В семинарии участвовали несколько мужчин и дам. Нина Ивановна с негодованием рассказывала о том, как прот. Булгаков часами предавался анатомическому и физиологическому разъяснению того, как могла Дева Мария зачать без семени и родить “без истления”. “Мы, женская часть семинария, часами сидели сконфуженные, растерянные, опустив глаза и не зная, куда деваться от стыда”. На исповеди же прот. Булгаков стал задавать ей столь нескромные вопросы о ее эротических грехах, что она, вскипев от негодования, сказала ему: “Отец Сергей! На такие вопросы я отвечать не буду!”»<sup>38</sup>. В другом месте Ильин укореняет свои подозрения в прошлом, вспоминая — по красноречивому совпадению с придирками Савицкого — тот же многолетний труд Булгакова «Свет Невечерний», в частности предпубликацию глав книги в «Вопросах философии и психологии» за 1916 год: «здесь он [Булгаков] развивал новую догматическую концепцию, согласно которой Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имеют в Лице Софии Премудрости что-то подобное “общей жене”, в любви к которой они себя (по очереди?) истощают, и она от них зачинает и родит мир. Помню, как я целому ряду друзей читал вслух эти пошлые выдумки и все разделяли мое негодование»<sup>39</sup>.

У меня нет оснований сомневаться в наличии твердого фактического ядра у этих сведений Ильина. Такие казусы могли возникать и возникали в общении Булгакова со студентами (его Русского Юридического факультета в Праге, состоящего под протекторатом Чешского Карлова Университета, где в 1923/1924 учебном году он читал Церковное право). Но навязчивые придирки и уличения Савицкого в таком контексте приобретают дополнительный смысл. А он таков: зная из разговоров в пражской студенческой среде о сексуальных темах, возникших в процессе общения Булгакова со студентами, слыша об обвинениях, которые молва произносила в адрес Булгакова, более того — предполагая, что Булгаков знает и втайне разделяет справедливость обвинений, Савицкий воспользовался единственным случаем, когда Булгаков реально зависел от него как редактора *Festschrift*'а Струве (участие в котором было для Булгакова морально

<sup>37</sup> С. Н. Булгаков. Труды о Троичности / Сост. А. Резниченко. С. 39–49.

<sup>38</sup> И. А. Ильин. Собрание сочинений: Письма. Мемуары (1939–1954) / Сост. Ю. Т. Лисица. М., 1999. С. 354–355. Этот же рассказ кратко приводится и в письме И. А. Ильина к И. С. Шмелеву от 11 февраля 1947: И. А. Ильин. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1947–1950) / Сост. Ю. Т. Лисица. М., 2000. С. 35.

<sup>39</sup> И. А. Ильин. Собрание сочинений: Письма. Мемуары (1939–1954). С. 366.

абсолютно необходимо), и расчетливо завел богословско-сексуальную полемику, чтобы (публично, под копірку!) больней уязвить противника.

Есть и еще одно обстоятельство. С начала 1890-х Струве был знаком Н. А. Рейтлингером — настолько, что последний даже готов был финансировать издание марксистской газеты во главе с Струве. В эмиграции семья Струве поддерживала близкие и дружеские отношения с дочерьми Н. А. Рейтлингер — Юлией и Екатериной<sup>40</sup>, крымскими знакомыми Булгакова. Находясь в 1923–1924 гг. в Праге, они стали его ученицами, а Ю. Н. Рейтлингер также, как она себя называет в письмах к Струве, «церковницей» Булгакова — его помощницей по устройству богослужения. Близкие отношения, сложившиеся у Булгакова с Ю. Н. Рейтлингер (впоследствии — монахиней Иоанной), освещены в его дневнике: «смущение изошло от Нели [жены, Е. И. Булгаковой] и Муночки [дочери, М. С. Булгаковой] по поводу моих отношений к Рейтлингер или вернее их ко мне»<sup>41</sup>. Видимо, молва об этом вышла далеко за пределы семьи Булгакова и не стеснялась в интерпретациях. Даже подчеркнуто дружественный к нему, П. Б. Струве писал своим близким: «Очень меня расстраивает отношение С. Н. Булгакова к Ю. Н.» («Пражский архив»: ГАРФ. Ф.5912. Цитирую по выписке, так и не смог обнаружить точного архивного шифра).

Возможно, неконтролируемая молва стала одной из причин отъезда Ю. Н. Рейтлингер из Праги в Париж. В апреле 1924-го Булгаков записал в дневнике: «Вчера уезжала из Праги Юля, и с этим отъездом как-то острее почувствовалась вся трудность узла отношений, силою вещей создавшихся с этой дивной девушкой. Религиозное творчество, порывы вдохновения, иконы, и вместе человеческая слабость и приражения, с которыми приходится вести ожесточенную борьбу»<sup>42</sup>. Осенью того же года Савицкий обвинил Булгакова в сексуальном переживании Софии.

Несомненно, вина за недобросовестное погружение современников в тему «женственности» в большей степени должна быть возложена на них самих. Но очевидна и интенсивная традиция асексуального, расширительного толкования «женственности» у более близкого Булгакову старшего поколения, прямо восходящая к В. С. Соловьеву (*Das Ewig Weibliche*: «Знайте, вечная женственность ныне...»). На поверхности такой традиции лежит вполне игровая, публицистическая эксплуатация «вечной женственности»: Бердяевым — в известной статье 1915 года «О “вечно бабьем” в русской душе» или Розановым в обнаружении «бабьих» черт в характере еврейства<sup>43</sup>; и Мережковским — в статье того же года «Поэт вечной женственности», в которой соловьевская линия углублена до Тургенева. Совершенное здесь Мережковским

<sup>40</sup> Кроме сообщенного в комментарии к пражскому дневнику Булгакова, см. посвященное Ю. и Е. Рейтлингер стихотворение Г. П. Струве 1922 года «Я хочу быть простым и мудрым...» (Глеб Струве. Утлое жилье. Избранные стихи 1915–1949 гг. 2 изд, доп. [s. l. ], 1978. С. 18).

<sup>41</sup> *Прот. С. Булгаков*. Из памяти сердца. Прага [1923–1924]. С. 201.

<sup>42</sup> *Прот. С. Булгаков*. Из памяти сердца. Прага [1923–1924]. С. 256.

<sup>43</sup> См. развитие формулы в усилении половых характеристик: «На международной цветаевской конференции вспомнилось, как Тиняков определил: Гиппиус — это вечно-женственное, Ахматова вечно-женское, Л. Столица — вечно-бабье (“А о ком еще было сказано: вечно бабье? О России: так сказал Бердяев, имея в виду дух восприимчивости и пр.”)» (*М. Л. Гаспаров*. Записки и выписки. М., 2000. С. 228).

соединение «вечной женственности» с фактами «человеческой малости» Тургенева, особенно в части его сексуальных отношений<sup>44</sup>, было прямо встроено им в контекст бердяевско-розановских применений формулы: «Есть два полюса в вечно-женственном: любовь-материнство и любовь-девственность. Их соединение — в мире божественных существей — в Деве-Матери, а в мире явлений эти два начала противоборствуют друг другу». Последнее дополнительным источником имеет вполне глубокомысленное суждение Мережковского о «двух противоположных гениях мировой культуры — духе семитском и духе арийском, духе смерти и жизни (...) двух полюсах, двух половинах, двух *полах* мира для какого-то последнего слияния...» [1898–1902]<sup>45</sup>. Непосредственно за этими, зыбкими и провокативными, применениями уже открывались возможности «особого», «бесовского» переживания «женственного» как специфически сексуального. Мережковский писал: «Душа женщины — в теле мужчины. В седом старике-исполине, Иване Сергеевиче Тургеневе, — маленькая Жанетта, четырнадцатилетняя девочка. (...) Женственное прекрасно в женщине, а в мужчине кажется “бабьим”, слабым, лживым, предательским, подлым — тем, за что порой “убить мало”»<sup>46</sup>. В результате оригинального мыслительного поворота Мережковский соединял соловьевски окрашенную Деву с сексуально окрашенной «женственностью» приходил к следующему: «Германо-романский Запад мужествен, славяно-русский Восток женствен. Мы знаем о мире то, чего другие народы не знают, — что мир есть мир — не война и ненависть, а вечная любовь, вечная женственность? (...) От Петра и Пушкина к Толстому и Достоевскому идет линия нашего мужества, явная, дневная; а ночная, тайная линия женственности — от Лермонтова у Тургенева: от Лермонтова Небесной Девы Матери, через Тютчева, певца земной Возлюбленной, и Некрасова, певца земной Матери, — к Тургеневу, уже не только русскому, но и всемирному поэту Вечной Женственности. И, может быть, далее — от прошлого к будущему — от Тургенева-поэта к Вл. Соловьеву-пророку, а от него и к нам. (...) В наши дни, дни мужества неправого и невечного, дни вражды не человеческой и даже не зверской, а дьявольской, не пора ли нам вспомнить о вечной любви, о вечной женственности? (...) Да, мы еще вернемся к Тургеневу»<sup>47</sup>.

В те военные годы бывший ярким и риторически активным милитаристом и певцом именно правого мужества и вражды человеческой, Иван Ильин, конечно, не мог простить всем, кого они числил входящими в круг Мережковского, такой вольности. Вот что мемуарно формулировал Ильин в связи с этим, язвя религиозных общественников и соловьевцев: «Формализм идет рука об руку с беспутством, распутством, релятивизацией, беспринципностью и т. д. Пустая форма — безыдейна и беспринципна, беспочвенна и безбожна; ей

<sup>44</sup> Д. С. Мережковский. Было и будет. Дневник 1910–1914. Невоенный дневник 1914–1916. М., 2001. С. 332, 334, 337.

<sup>45</sup> Д. С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 137.

<sup>46</sup> Д. С. Мережковский. Невоенный дневник. С. 339, 338.

<sup>47</sup> Д. С. Мережковский. Невоенный дневник. С. 342–343. После 1917-го Мережковский формулировал терминологически ещё уже: «Религиозная болезнь русского народа есть *чрезмерная женственность*» (Д. Мережковский. Россия будет. I. // Наш Век. Петроград. 23 (10) июня 1918. № 100. С. 2).

соответствует болото большой страстности и извращений, гниение на корню; теория и практика вседозволенности; неспособность отличить божеское от дьявольского; вкус к дьявольскому; хлыстовщина и распутищина. Вот почему все эти группы русских предреволюционных публицистов — Розанов, Мережковский, Булгаков, Бердяев, Вяч. Иванов, Белый, Чулков — были сущими предтечами большевистской революции. Понятен их интерес к большой сексуальности, к черной мессе, к хлыстовству; их близость к партии социалистов-революционеров; их неспособность отличить “мадонну” от публичной женщины; их постоянное возвращение к сексуальному трактованию теологических тайн. В 1915 году я сам слышал, как Булгаков объяснял [Д. Е. ] Жуковскому, что Распутин — великий мистик, так же, как и Николай II...»<sup>48</sup>.

В условиях 1920-х годов ощутив себя новыми идейными вождями, ответственными за русскую культуру и русскую религиозность, Ильин и евразийцы почувствовали себя призванными к особой, повышенной сексуальной чистоте и пруденциальности. Первой жертвой их идеологически обременённой пруденциальности должен был стать Булгаков. Вскоре к борьбе против «сексуального толкования Богоматери» добавилась и борьба против софийства как части масонского заговора... К несчастью, и здесь принадлежность круга Мережковских к масонству наводила на размышления.

## 6. Булгаков. «Последнее письмо» к Бердяеву (1939)

Анекдотическое соотнесение имен Булгакова и Бердяева принадлежит мемуаристу Андрею Белому: «[Булгаков] шел в паре с Бердяевым в эти года; и они появлялись вместе; и вместе отстаивали свои лозунги; уже потом раскололись; обоих мы звали: “Булдяевы” или “Бергаков”...»<sup>49</sup>.

В прежние времена, когда мифический «русский религиозно-философский ренессанс» мыслился единственной альтернативой советской философской дикости, — догматический, неисторический, почти равнодушный к личному опыту и личному пафосу, интерес к «ренессансным» мыслителям почти не распространялся на выяснение различий между ними, на выяснение противоречий, генезиса и эволюции их мыслей. Хорошо помню, как, пытаясь представить себе ожидаемое развитие науки, лакмусовой бумажкой зрелости науки я называл способность исследователей поставить и описать проблемы: узкую «Шестов в 1906 году» и огромную «Булгаков и Бердяев». Потому что Булгаков и Бердяев, проживши бок о бок целую жизнь, много работали вместе, но мало сталкивались и полемизировали, словно договорившись о взаимном молчаливом нейтралитете — и из лобового догматического столкновения их текстов мало что следует<sup>50</sup>.

В конце Булгаков перенес ряд операций рака горла. После первой из них он потерял голос. Накануне неё он писал Бердяеву: «10. III.39. Дорогой Нико-

<sup>48</sup> И. А. Ильин. Собрание сочинений: Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней. М., 2001. С. 113–114.

<sup>49</sup> Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 493.

<sup>50</sup> Редкое, критическое и холодное, взаимоописание Булгакова и Бердяева мне удалось найти и опубликовать: М. Колеров. Неизвестные рецензии Булгакова и Бердяева в журнале «Книга» (1906–1907) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год. М., 1998.

лай Александрович! Чувствую потребность, отходя из этого мира, послать Вам и Вашим последнее прости и благословение. Промыслу Божию угодно было и соединять, и разделять наши духовные пути, но у меня никогда не прерывалось чувство духовного родства и общего служения, которое нас соединяло всю жизнь неким и. В частности благодарю Вас и за ту защиту, на которую Вы не раз доблестно выступали и меня это всегда трогало. Да будут пути Ваши благодатны и прямы. С любовью Ваш пр. С. Б.»<sup>51</sup>

## 7. Евразийская фраза Новгородцева (1922)

Считается, что из деятелей старшего поколения юношей-евразийцев определенно и решительно поддержал лишь Карсавин. Прагматически, ради денег, нейтральными сочинениями, приняли участие в евразийских изданиях Франк и Карташев. Сведений о том, что хоть слово симпатии или сочувствия евразийству высказал Новгородцев — до сих пор не было. Но, в отличие от Струве и И. А. Ильина, Новгородцев вряд ли был способен к радикальному отвержению евразийства. Кажется, что он и вовсе, пока евразийство не обнаружило свою явную просоветскую природу, готов был увидеть некоторый позитивный смысл в этом движении. Пусть даже риторически. Понятно, что в тесном общении с толпой пражского русского студенчества всякое с Новгородцевым могло приключиться и всякие фразы могли быть сказаны.

Пражский confident «национал-большевика» Н. В. Устрялова, старавшийся консолидировать его с ему подобными, русифицированный чех Ф. Ф. Кубка детально сообщал ему из Праги в Харбин обо всех пунктах наблюдаемого им эмигрантского идейного развития. Он пишет Устрялову 16 января 1922: «сошелся я с учеником П. Струве П. Н. Савицким, одним из представителей нового течения “Евразийизма”...». И, видимо, со слов Савицкого далее сообщает о признаках победного шествия течения: «К этой же группе примыкает и прекрасный светлый старик проф. Новгородцев, который, говорят, будто бы сказал: “Россия горда, что родила Чингис-хана”»<sup>52</sup>. То, что позиция коллеги по ЦК кадетской партии Новгородцева для национал-большевика Устрялова, искавшего формул перехода от чтимого им антибольшевистского веховства к пробольшевизму, была важна, и что Ф. Ф. Кубка не случайно поминал его имя, свидетельствует следующий красноречивый факт. В принципиальном для идейного перехода 1919 году, в редактируемой им вместе с Д. Болдыревым газете «Русское дело» Устрялов предпослал первому же номеру эпиграф из Новгородцева: «Революцию надо преодолеть, взяв у нее достижимые цели и сломив ее утопизм, демагогию, бунтарство и анархию непреклонной силой власти»<sup>53</sup>. Даже если неистовый Савицкий в 1922 году ошибся, ослышался, то в контексте этого эпиграфа 1919 года и предсмертных произведений Новгородцева «Существо русского правосознания» и «Восстановление святынь», во имя риторического православия похеривающего все предыдущее новго-

<sup>51</sup> РГАЛИ. Ф.1496. Оп.1. Ед. хр. 372. Л.13.

<sup>52</sup> The Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Nikolai Ustrialov Collection. Folder 2. P. 29. #17.

<sup>53</sup> Н. Устрялов. Русское дело [передовая] // Русское дело. Омск. № 1. 5 октября 1919. С. 1.



родцевское правосознание, вышеупомянутая экзотическая фраза не кажется невозможной.

Краткое исследование откликов на позицию Новгородцева во внутри-эмигрантской полемике начала 1920-х доказывает, что симпатии Новгородцева к евразийству были фактом. Основой этих симпатий, было, разумеется, «понимающее» отношение Новгородцева к большевизму. Жена И.А. Бунина записала в дневнике 3 января 1924 года: «Струве (...) много рассказывал о настроениях в Праге (...) Кизеветтер и Новгородцев. Первый левее второго, но более непримирим [к большевизму], второй правее, но ближе к примиренчеству»<sup>54</sup>.

Впервые идея привлечь Новгородцева к сотрудничеству с евразийством (наравне с иными представителями старшего поколения, — первоначально на правах автора евразийских изданий) была высказана Г.В. Флоровским, что отразилось в письме П.П. Сувчинского к Н.С. Трубецкому от 6 февраля 1923 года: «Как Вы относитесь к предложению Флоровского — не издавать больше обособленных “евразийских” сборников, а “под редакцией” (?) Евразийцев — начать издавать журнал (2 книги в год) при участии Струве, Новгородцева и т.п.? Признаюсь, я не совсем уяснил себе, в чем будет состоять “евразийская редакция” этого журнала и зачем нужны Струве и Новгородцев? Статья Новгородцева в сборнике “Православие и Культура” [“Существо русского правосознания”] довольно крамольная (...) Нужно возможно дольше делать общий, основной отбор сотрудников (по духу!) и не переходить на партийную платформу. Это нас только разъединит до срока. (...) Присматриваюсь к разным людям (Ильину, Бердяеву, Франку, Новгород <цеву> и др.). Я все больше прихожу к убеждению, что “евразийцам” надлежит не смешиваться ни с кем и возможно дольше не уточнять свои идеи, ибо все другие, иногда... и то, да не то!»<sup>55</sup>.

Есть основания полагать, что главным посредником в общении евразийцев (в Праге) с Новгородцевым действительно выступал Г.В. Флоровский. Конфликт Флоровского с Савицким в сентябре 1923 и начавшийся вскоре после этого отход Флоровского от евразийства поставил перед руководителями движения задачу установления альтернативной связи с Новгородцевым. Живший в Вене Н.С. Трубецкой писал в Прагу Савицкому 15 сентября 1923: «неприятно не то, что Г.В. взял свои статьи обратно [из составляемого евразийского сборника], но то, что мы оказываемся без философа. К сожалению, все это окончательно выяснилось уже после отъезда Новгородцева из Вены, а то я попробовал бы позондировать, нельзя ли так или иначе получить от него что-нибудь подходящее по чистой философии. (...) Не знаю, какие у Вас личные отношения с Новгородцевым. Не могли бы Вы попробовать очень осто-

<sup>54</sup> [В.Н. Муромцева-Бунина. Дневник] // Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие материалы / Под ред. Милицы Грин. В 3-х томах. Т. II. Frankfurt am Main, 1981. С. 120.

<sup>55</sup> ГА РФ. Ф.5783. Оп.1. Д.359. Лл. 31–32. Критическое отношение Сувчинского к Новгородцеву проявилось еще в письме его к Трубецкому из Берлина 14 февраля 1922: «Был Новгородцев. На фоне берлинской жидо-масонской и монархической скуки — это было интересно, но все-таки старик любит поражать дам в “салонах” и пустить маститую слезу. Виделись с ним несколько раз и он очень ободрил меня» (ГА РФ. Ф.5783. Оп.1. Д.359. Л.7).

рожно позондировать его?»<sup>56</sup>. 30 октября в письме к Савицкому Трубецкой вновь возвращался к проблеме привлечения Новгородцева: «вот кого следовало бы выяснить [на предмет сочувствия евразийству], — это Новгородцева. Из разговоров с ним я вынес впечатление, что он относится сочувственно действительно к евразийству, а вовсе не к Г.В., и что он вполне отдаст себе отчет в недостатках Г.В.»<sup>57</sup>.

Итак, по крайней мере, в личных разговорах с евразийцами Новгородцев дал основания думать о его сочувствии движению и Савицкий, передавая конфиденту Устрялова его слова, не выдавал желаемое за действительное.

## 8. Закат Новгородцева

Мутации, которые переживало мирозозерцание Новгородцева в начале 1920-х годов, остались почти без критического освещения со стороны современников — настолько высок был его авторитет, который критикам неизбежно пришлось бы потревожить. В ответ на публикацию статьи Новгородцева «Православная Церковь в ее отношении к духовной жизни новой России» (1922. Кн. I–II) в редакцию «Русской Мысли» поступило письмо читателя, которое так и осталось лежать в архиве журнала: Петр Струве не опубликовал и не переслал его Новгородцеву.

Вот это письмо: «30 марта 1922. Многоуважаемый г. Редактор! Позвольте одному из читателей Вашего журнала поделиться мыслями, какие вызвала статья проф. Новгородцева, помещенная в последнем № “Русской Мысли”. Статья эта представляет изложение лекции, прочитанной перед студентами Ахенского Политехникума. Поскольку она излагает собственную философскую систему проф. Новгородцева, можно вести ученый спор против этой системы в целом или против того неправильного и неполного освещения исторических фактов, какое мы видим, например, в схеме истории русской церкви или в оценке ее духовного влияния на русский народ. За эту задачу я не берусь, а хотел лишь подчеркнуть большое политическое и общественное значение, какое может иметь проповедь проф. Новгородцева и близких ему по общественно-философским взглядам лиц. Мне хотелось бы выяснить точку зрения редакции “Русской Мысли” на развиваемые Новгородцевым взгляды, так как никакой оговорки к статье его я не нашел. Вместе с тем, думается мне, лекция проф. Новгородцева должна была возбудить ряд недоуменных вопросов у его иностранных слушателей, а его русских читателей задеть очень больно!

Проф. Новгородцев утверждал перед слушателями Ахенского Политехникума, что “русский народ взлелеял в душе своей самые возвышенные и великие мечты, какие только доступны человеческому сознанию» и что Западу, по предсказанию Достоевского, суждено погибнуть, что все здесь кончится «резней, кровью и грабежом”.

Я понимаю, что всякий, кто хочет доказать свою “систему”, фатально обречен на некоторую слепоту в отношении фактов жизни. Но есть же пределы! Есть пределы, которые ставятся здравым смыслом и *политическим тактом*.

<sup>56</sup> ГА РФ. Ф.5783. Оп.1. Д.403. Лл. 164–165.

<sup>57</sup> ГА РФ. Ф.5783. Оп.1. Д.403. Л. 166–166 об.

Я знаю, что Вы, как политический деятель и как редактор журнала, достаточно осведомлены о фактах истории русской революции. Я же убежден, что многие русские люди, которые, как и я, близко испытали прелести революционной эпохи и имели непосредственное соприкосновение с народом за последние годы, испытают чувство боли, досады и стыда при прочтении названной статьи. Совершенно ясно, мне кажется, что в тот момент, когда в России все кончилось “резней, кровью и грабежом”, когда сердце всякого русского человека обливается кровью при мысли, что Россия гибнет, когда русские люди с отчаяньем протянули руку к западным своим братьям и молят о помощи, как нищие, — становиться в величественную позу пророка и пытаться сказать “новое слово” в поучение Западу есть непростительная наивность! Или проф. Новгородцев соблазнился тем самым “чином юродивого”, о котором он упоминает в своей статье?

“Настоящий” русский человек — всякому человеку брат; на Западе же, в противоположность России, нет двух вещей: “братской любви и смирения”. Там “выгнали на улицу Христа”, у нас же — в России — сохранили во всей чистоте Его утраченный образ. Западный человек “не обнимает оскорбившего... не обнимает *несогласного* с ним”... и т. д. Все это подчеркивает проф. Новгородцев. Неправда ли, как он прав во всем и какой блестящий пример являем, например мы, эмигранты, перед лицом Запада? Да, в особенности “несогласного” любят обнять русские люди!.. Много образцов явили мы в этом отношении за последние годы... А сегодня, в день получения известия о смерти В. В. Набокова<sup>58</sup>, это утверждение звучит еще трагичней... Что же касается “смирения”, то после стольких попыток сказать “новое слово” и поучить Запад, и эта добродетель русских людей возбуждает большие сомнения. Итак, по Новгородцеву, Запад гибнет, а Россия призвана его спасти (как раз наоборот тому, что проповедует западник Нансен!). Россия спасет “новым словом”, которое заключается в том, чтобы стать братом всех людей, “всечеловеком”. Таков прогноз Новгородцева.

А рядом в Вашей статье, г. Редактор, Вы доказываете, что *Россию* надо спасти и что спасется она идеей *национальной*.<sup>59</sup> Старый вопрос: пойдет ли Россия особыми путями или же поплетется в хвосте Запада и будет, по воле исторического рока, повторять на себе все его пагубные ошибки и заблуждения? К чему же придет Россия, если она возродится: к всечеловечеству или к национализму? Это правда, что в России до сих пор не знали чувства национализма, хотя задатки к тому обнаруживались, как теоретически (славянофильство и с ним Новгородцев), так и практически-вульгарно (погромы). Но были к тому и исторические основания. Земля наша была велика и обильна. Жизнь была сравнительно легка. Мы не знали той *тесноты*, которую знает Запад и которая заставляет бороться за каждый клочок земли. Мы не знали той острой борьбы за существование, которая приводит людей с университетским образованием в ряды низших профессий. Мы были земледельческим

<sup>58</sup> Струве предоставил Новгородцеву возможность косвенно морально компенсировать этот упрек, опубликовав его некролог В. Д. Набокову в «Русской Мысли» (1922. Кн. IV. С. 194–196).

<sup>59</sup> *Петр Струве*. Прошлое, настоящее, будущее. Мысли о национальном возрождении России // Русская Мысль. 1922. Кн. I–II. С. 222–231.

народом и притом *примитивно* земледельческим, без применения более культурных способов обработки земли. Что же будет, когда и у нас станет тесней, когда на место бесправного крестьянина-общественника станет мелкий собственник, который будет обрабатывать свой участок с применением культурных улучшений, гораздо более интенсивного труда и с расчетом на грядущие поколения? Когда у нас разовьется городская жизнь и появится городское население, лишенное всякой связи с деревней, с землей? Останемся ли мы и тогда такими же “широкими натурами”, такими же братьями для всех и всечеловеками; или же, кто знает, и мы, соприкоснувшись ближе с Западом, начнем отстаивать с оружием в руках каждый клочок нашей русской земли и заразимся той же националистической ненавистью ко всем иноземцам?

Обсуждение всех вопросов, связанных с возможностью будущего государственного бытия России, представляется мне чрезвычайно необходимым. Но едва ли такое обсуждение может стать плодотворным, если к ним подходить сейчас с точки зрения славянофильских утопий. И не символично ли для судьбы этих утопий, что они дали такой неожиданно пышный расцвет среди эмигрантской интеллигенции, оторванной от родной почвы и изнывающей от тоски по нашей несчастной родине? В. Сергеев»<sup>60</sup>.

## 9. «Памятник» Розанова

В собрании розановских заметок «Сахарна», во фрагменте, примерно датированном 30 декабря 1913 года, читаем:

«Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — **и мысли**. “Розанов сказал”, “Розанов хотел”, “Розанов пытался”.

Если мой ум и не будет помниться (м. б. и не стоит) — мой порыв будет помниться. История “моего сердца” не пройдет в литературе русской: а сердце-то и я хотел сохранить, для сердца я работал.

“Мое дорогое!” “Мое дорогое!” — вот что сохранится. Не “мое истинное”, чего м. б. и нет. Но “мое дорогое” как зверь проползет из поколения в поколение и все будет поднимать глазки, и эти глазки будут ворожить сердца людей.

“Вот Розанов чего хотел”, “сделаем, как Розанов хотел”.

Ползи же, зверь мой, дальше. Ползи, не уставай. И нашептывай людям дорогие слова. Будь хитер и терпелив. Идет дождь. Терпи. Горит “твое” — терпи. Все выноси. И грызи, грызи кабак и его вонючий запах. Смотри, он затянул все.

Увяли розы. Меркнут звезды. Могучий *tabes* разливается по миру. *Tabes* — знаешь ли ты его? О, как трудна болезнь. Как страшна она. Сохнет душа. Только чудо может спасти.

Розанов, будь чудом своей земли. И моли Бога, моли Бога, потому что ты **сам** ничего не можешь, но если Бог с **тобою** — чудо выйдет.

Бог с тобою, Розанов. Не смущайся. Кто дал жизнь миру, может исцелить и неисцелимую болезнь. Болезнь будет исцелена».<sup>61</sup>

<sup>60</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1 Д.153. Лл.55–58.

<sup>61</sup> В. В. Розанов. Сахарна. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови / Собрание сочинений под ред. А. Н. Николюкина. М., 1998. С. 240.

...Да, найти слова, если хочется высказаться о перспективах своей посмертной славы, в России очень легко — здесь на помощь спешат Гораций и Пушкин. Вернее, даже просто Пушкин, влекущий за собой имя Горация, ибо традицию русских переводов и переложений оды Горация, в России выступающей под именем «Памятника», неизбежно фокусируют на пушкинском «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (при том, что массовое культурное сознание хорошо знает переложение Державина). По инициативе В. П. Григорьева даже хлебниковское «Ещё раз, ещё раз // я для вас звезда...» принято именовать «Памятником»<sup>62</sup>. Фрагмент Розанова, вычленяемый мною в толще его заметок 1913 года, называю я «Памятником» не по внешнему сходству темы. Чувствуется мотив, дополнительный к пушкинскому, гораціанский. «Памятник» Розанова — не только от Пушкина, но и от Горация.

О том, что такое жесткое различие имеет особый содержательный смысл даже в русской традиции, свидетельствует самая свежая полемика о степени удаления пушкинского текста от латинского оригинала. «У Пушкина от Горация осталась только сама идея памятника и повсеместной славы...», — говорят одни<sup>63</sup>. Отнюдь, в тексте своем Пушкин реализует «стилизацию в гораціанском духе», — говорят другие<sup>64</sup>. Важно, что обе версии оставляют простор для параллельного бытования текстов Горация и Пушкина в культурной среде, для которой классическое гимназическое образование (до 1911 года) делало незнание оригинала практически невозможным<sup>65</sup>. (Автоматически цитирует латинский оригинал А. А. Ахматова, используя аеге *perennius* как доступный общему пониманию фрагмент). Все эти оговорки, впрочем, мало касаются В. В. Розанова, ибо он не только действительно знал школьную латынь и школьного Горация, но и имел склонность цитировать Горация в латинском оригинале<sup>66</sup>.

Итак, вслед за пушкинским:

*Нет, весь я не умру — душа в заветной лире*

Розанов говорит:

(1) *Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — и мысли.*

<sup>62</sup> Ещё одну попытку извлечения «Памятника» см.: Б. Кац. «Exegi monumentum» Владимира Набокова: к прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Старое литературное обозрение. 2001. № 1. С. 76–80.

<sup>63</sup> Елена Рабинович. Риторика повседневности. Филологические очерки. СПб., 2000. С. 147.

<sup>64</sup> Роман Войтехович. О гораціанском претексте «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» // Пушкинские чтения в Тарту. 2. Тарту, 2000. С. 228.

<sup>65</sup> Здесь понадобятся лишь первые пять строк оды Горация «Ad Melpomenem»:

Exegi monumentum (um) aere perennius  
Regalique situ pyramid (um) altius,  
Quod non imber edax, non Aquil (o) impotens  
Possit diruer (e) aut innumerabilis  
Annoꝝ series et fuga temporum (...)

<sup>66</sup> В. В. Розанов. Когда начальство ушло... 1905–1906. Мимолетное. 1914 год / Собрание сочинений под ред. А. Н. Никололюкина. М., 1997. С. 352 (Мимолетное); В. В. Розанов. Итальянские впечатления. Среди художников / Собрание сочинений под ред. А. Н. Никололюкина. М., 1994. С. 378 (здесь он, правда, приписывает Горацию стих Вергилия, но важен факт латинской цитаты. А спутать вот хоть Писемского с Гончаровым Розанову было нетрудно).

Пушкинскому:

*буду тем любезен я народу // Что чувства добрые я лирой пробуждал*

Розанов отвечает:

(2) *мой порыв будет помниться. История «моего сердца»... (...) «мое дорожное»... все будет поднимать глазки, и эти глазки будут ворожить сердца людей<sup>67</sup>.*

Но вот следующим розановским «стихам» нет соответствия у Пушкина, а есть соответствия лишь в горацянском оригинале:

Розанов:

(3) *как зверь проползет из поколения в поколение*

Гораций:

*innumabilis // Annorum series et fuga temporum...* (ряд бесчисленных лет и бег времён)

Розанов:

(4) *Идет дождь. Терпи.*

Гораций:

*non imber edax (...)* *Possit diruer* (едкий дождь разрушить не может)

## 10. Ложное известие о смерти Розанова

«Киев. 10 декабря. По полученным здесь сведениям, в Москве, по постановлению местной чрезвычайки, расстрелян известный публицист В. В. Розанов, проживавший последнее время в Троице-Сергиевском посаде» (Новая Россия (Харьков). № 4. 13 декабря 1918. С. 3).

<sup>67</sup> В розановской Пушкиниане пушкинское переложение прямо упоминается лишь однажды и мимоходом: В. В. Розанов. О Пушкине. Эссе и фрагменты / Сост. В. Г. Сукач. М., 2000. С. 292.